

## МНИМЫЕ ЗАГАДКИ

«**Д**ве дороги к одному обрыву» — вероятно, самая интересная работа И. Шафаревича вне области математики (мне недоступной). Там есть несколько страниц о кризисе цивилизации, которые читаешь с сочувствием. Правда, все время вспоминаешь читанное раньше: Габриеля Марселя и Мартина Бубера, Хайдеггера и Фромма, Маргарет Мид и А. Дж. Тойнби...

Запад очень хорошо сознает кризис своей цивилизации — и напряженно ищет выхода из него (у нас это объяснялось усталостью буржуазии, ее страхом перед будущим и т. п.; но факт остается фактом). Все практические средства, которые предлагает Шафаревич, на Западе уже обсуждались. Особенность его концепции только в том, что тревожное сознание реального кризиса переплетается с несколькими ложными идеями, которые хотелось бы отбросить.

Одна из решающих ошибок — злоупотребление словом «утопия». Шафаревич оперирует словами живого языка так, словно это математические термины, имеющие строго определенный смысл, и притом именно тот, которым наделил их сам автор. Между тем гуманитарные науки не случайно предпочитают обычный, разговорный язык; так удобнее мыслить о предметах, которые никогда не могут быть до конца определены, а, напротив, заново определяются в каждом новом контексте. И во всех выкладках Шафаревича об утопичности западной цивилизации пропадает важнейшая особенность утопии: это нечто несбыточное, нечто вроде вечного двигателя. Между тем западная цивилизация осуществилась, состоялась и за несколько веков распространилась по всем континентам. Так же, как покорила доступную (в то время) часть земли Рим. Односторонняя рациональность римского права кончилась катастрофой. На краю катастрофы оказался и современный мир, но это не значит, что он утопичен.

Утопия — не просто чересчур рациональная, придуманная социальная жизнь. Придуманы, не укоренены в традиции кооперативы, профсоюзы, тресты, социальное страхование, конституция Соединенных Штатов и даже целая страна — Израиль с мертвым языком, на котором заговорили в быту живые люди (до 1948 года это было утопией, а после стало реальностью). Напротив, национально-культурная автономия, казавшаяся реальностью, оказалась утопией в гитлеровской Германии и в сталинской России. Утопией оказалась попытка сохранить в XX веке империю, хотя бы и переодетую в новую одежду; и вполне можно назвать утопичной мысль Шафаревича, высказанную в сборнике «Из-под глыб» и поддержанную «Вечем» В. Н. Осипова, — что народы согласятся с ролью младших братьев в имперской системе, если им хорошенько объяснить связанные с этим выгоды.

И. Шафаревич прав, отмечая сходство между некоторыми чертами некоторых утопий и некоторыми чертами западной цивилизации; но он очень преувеличивает близость двух групп явлений. Перекос в сторону рациональной динамики (или в сторону традиционного консерватизма) свойствен всем цивилизациям. Чересчур традиционные застывают и в конце концов уничтожаются своими более динамичными соседями (такова судьба Тибета, а ранее — Византии; она же скорее всего ожидала и Московию, если бы не Петр). Чересчур рациональные теряют органическое единство и оказываются на грани внутреннего развала<sup>1</sup>. Рим из этого кризиса не выбрался; Китай, после революционной династии Цинь, сумел его преодолеть; Индия в него никогда не попадала, она тяготеет скорее к застою, чем к развалу. Полное равновесие в истории недостижимо; приходится различать умеренные перекосы (с которыми можно мириться) и перекосы катастрофические, грозящие немедленной гибелью. Цивилизация Запада закономерно пришла к кризису, но она с огромной энергией, свойственной фаустовско-

<sup>1</sup> Ср. популярное изложение этих идей в журнале «Знание — сила», 1989, № 6, 7.

му духу, ищет выхода из него. Как же приравнивать ее к нашему застою? Мы действительно перед обрывом, а Запад...

На Западе даже «центрально-административная экономика» отлично работала в ходе подготовки и ведения войны. Ленин исходил из первого варианта этой экономики, кайзеровского (1914—1918), и попытался распространить принципы немецкой военной экономики на всю хозяйственную жизнь народа. Через несколько лет стало ясно, что опыт провалился. Отсюда нэп. А потом Сталин ликвидировал нэп, и утопия воцарилась в нашей стране надолго и всерьез. Во время войны военно-экономическая модель сравнительно неплохо работала, но в условиях долгого мира стала нелепой. Этот пример еще раз показывает, что граница между утопией и творческим нововведением довольно условна, текуча. И нет ничего мудреного в том, что европейские интеллигенты, сочувствующие социалистическому эксперименту, не сразу в нем разобрались. Загадка здесь только для Шафаревича.

Социалистическое движение породили прежде всего неудовлетворенность человека свободной конкуренцией в ее первоначальной, безжалостной, ничем не ограниченной форме (неудовлетворенность идеями и практикой мистера Домби и Петра Петровича Лужина из романа «Преступление и наказание»), жажда более нравственного пути развития. В основе «Утопии» сэра Томаса Мора лежит факт, что «овцы съели людей», что развитие разоряет народ. Некоторые социалистические проекты были нелепы, другие — разумны и практичны (например, кооперативы). Опыт в конце концов показал, что абстрактное отрицание частной собственности и свободной конкуренции — лекарство, которое хуже самой болезни. Но до недавнего времени подобного опыта у человечества не было. Была мировая война, обнажившая язвы старого, классического капитализма. Было активное неприятие национализма, втолкнувшего Европу в отвратительную бойню, — неприятие не менее сильное, чем то негативное чувство, которое испытывает Шафаревич к «интернационал-социализму» (после Воркуты и Колымы). И вдруг Россия в 1917 году рванулась к чему-то новому...

Даже террор 30-х годов не смог разрушить сочувствия к советскому эксперименту. Помню печатавшиеся тогда «Драмы революции», автор которых, Ромен Роллан, убеждал наших читателей: да, мы тоже наломали дров — с Робеспьером, Кутоном, Фукье-Тенвилем, но в конце концов мы освободились от призраков, которым приносились человеческие жертвы, а разумное осталось, и новый порядок лучше старого, так будет и у вас...

Очень поддержал просоветские настроения на Западе приход нацистов к власти в Германии. Скорее всего без эксцессов русской революции такого бы не случилось. Но как бы то ни было, мир оказался перед выбором: Сталин или Гитлер. Гитлер был хуже тем, что хотел завоевать (и завоевал) Европу; а Сталин строил (и убивал) у себя дома. Ну и пусть себе строит, думалось со стороны. (Недаром на союз со Сталиным пошел и Черчилль, у которого социалистических симпатий не было.)

Во время войны в сторону Сталина рванулась и первая русская эмиграция, и на каком-то митинге Бердяев, апологет свободы, сидел под портретом Сталина... Человек, загнанный в тупик и вынужденный выбирать одно зло против другого, склонен идеализировать свой выбор. «Конструирование желанного» — общая человеческая черта, черта скверная, постыдная; но кто от нее свободен? Свободнее ли от нее правые, чем левые? Разница только в том, что правые другого желают и другое романтизируют...

Нет ничего странного, что сочувствие левых западных интеллигентов сошло на нет, когда им наконец открылось, что в результате сталинского строительства создана агрессивная, угрожающая всему миру империя. Шафаревич напрасно видит здесь некую тайну: «...оценка западным либеральным общественным мнением положения в нашей стране не была все время одной и той же, она стала резко меняться где-то в 50-е годы. Но вот что загадочно: раньше они не хотели замечать творившейся у нас трагедии, а потом вдруг стали все строже судить нашу жизнь как раз тогда, когда миллионы заключенных были отпущены и жизнь стала постепенно смягчаться... Этот процесс захватил 60-е и 70-е годы. Если в 60-х годах в Европе учреждались общественные «трибуналы» для суда над действиями американцев во Вьетнаме, то в 70-е годы на таких же «трибуналах» и «чтениях» осуждалось уже нарушение «прав человека» в СССР».

Тут, видимо для большей загадочности, пропущены некоторые факты. Отношение к СССР портилось еще при Сталине — в период корейской войны и дела врачей. Оно

улучшилось после XX съезда, снова стало меняться в худшую сторону из-за Венгрии, из-за дела Пастернака, из-за процесса Синявского и Даниэля и окончательно испортилось после чехословацких событий 1968 года, то есть после конца (а не начала!) эпохи реформ. Ничего иррационального, загадочного, заставляющего искать тайные причины случившегося, здесь не было. Подозрительность Шафаревича сама по себе загадочна и требует разгадки. Так же как его отношение к борьбе за права человека (поразительно близкое к позициям советской прессы времен застоя): «Я не помню, чтобы права человека поминались в связи, например, с коллективизацией у нас или «культурной революцией» в Китае», — с китайской политикой ограничения рождаемости или с разрушением биосферы американской промышленностью<sup>2</sup>: «...США существуют за чужой счет — за счет нас и наших потомков, угрожая самому их существованию. Но я никогда не слышал, чтобы такая ситуация связывалась с категорией «прав человека». Зато ограничение эмиграции (это прежде всего!), запреты демонстраций или партий и связанные с нарушением таких запретов аресты рассматриваются как нарушение столь фундаментальных «прав человека», что оказываются препятствием в переговорах по ограничению вооружений, в торговле или по расширению научных связей. Создается впечатление, что понятие «права человека» не имеет какого-то самоочевидного содержания. Такая неопределенность дает возможность пользоваться этим понятием как полемическим приемом. И в отношении к нашей стране это скорее всего именно такой полемический прием, а сама причина враждебности лежит где-то глубже (стр. 150)<sup>3</sup>.

Можно ответить напрямую, что без «прав человека», без легальной оппозиции, без права Сахарова выступать против правительства и предостерегать Запад от ошибок переговоры об ограничении вооружений не стоят ломаного гроша. Однако мне хочется углубиться в историю и проверить аргументацию Шафаревича на других фактах. Разве лорды, вырвавшие у Иоанна Безземельного Великую хартию вольностей, были самыми обездоленными в Англии? Разумеется, нет. Но они осознали права личности и потребовали признания этих прав государством. Опыт показал, что именно такой путь исторического развития, берущий свое начало с осознания своего достоинства и свобод просвещенным меньшинством, приводит в конечном итоге к свободе для всех. Напротив, стихийное движение темных, обездоленных и бесправных масс может привести, в случае его победы, к обновлению деспотизма. (Г. П. Федотов оценивал так гипотетические последствия победы пугачевщины в России. В Китае вождем крестьянского восстания, свергнувшего космополитическую династию Юань и основавшего национальную династию Мин, был одним из самых жестоких деспотов в истории Поднебесной.)

Права человека, за которые вступался Запад, это прежде всего права личности, их осознавшей и за них борющейся. Запад не вступился за китайских крестьян, убивающих новорожденных девочек, потому что крестьяне оставались в замкнутом кругу китайских обычаев. Но когда китайские студенты потребовали политических реформ и были расстреляны — не протестовал только Советский Союз.

Запад откликнулся на события в Китае так же, как и на события в России. Это принципиальная позиция. Никакой общей враждебности к Китаю (синофобии) не было. Так же как нельзя объяснить враждебностью к нашей стране (русофобией) то, что Запад последовательно защищал личность от произвола государства: Синявского и Даниэля, Гинзбурга и Галанскова, Литвинова и Богораз, наконец — Сахарова и Солженицына, когда на них обрушивались прямые репрессии сверху и поток клеветы в прессе.

Нельзя сказать, что крестьян, умиравших в 30-е годы, вовсе не защищали. О них писали, и была целая кампания против советского демпинга (вывоза дешевого зерна и леса во время голода). Но писали мало. Отчасти из-за общеполитической обстановки, о которой уже говорилось. Отчасти из-за ограниченных возможностей прессы.

Диссиденты имели возможность и мужество нарушить советское табу: Литвинов и Богораз созвали первую в нашей стране диссидентскую пресс-конференцию, за ней пошли другие. Не Запад обратился к ним — они сами предпочли обратиться к Западу.

<sup>2</sup> Проблема эта сама по себе ставилась, и неоднократно. Первыми ее поставили сами американцы.

<sup>3</sup> Последние слова как бы отсылают читателей «Нового мира» (1989, № 7) к другой статье И. Шафаревича, «Русофобия», опубликованной в журнале «Наш современник» (1989, № 6).

## ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Крестьяне не могли этого сделать. А зарубежных корреспондентов в районы голода не пускали. Когда режим достигает такой степени закрытости, как сталинский, его не уколупнешь. Корреспонденты получили возможность вкладывать свои персты в язы только после того, как сами язвы полуоткрылись, то есть после известной либерализации. А в 30-е годы достоверных фактов не хватало. Слухи опровергались. В советских газетах печатались фотографии упитанных немцев-колонистов, уверявших, что никакого голода на Украине нет. Я эти фотографии помню, хотя и не верил им (у меня была своя «неформальная» информация с Украины). А левые интеллигенты, захваченные своими проблемами, могли закрывать глаза на «отдельные перегибы».

И. Шафаревич считает русофобией всякую попытку исследовать, почему Россия первой бросилась в утопию. Он цитирует прекрасную работу Ксении Григорьевны Мяло «Оборванная нить» («Новый мир», 1988, № 8) в доказательство того, что утопия была России навязана. Но статья Мяло посвящена староверам, то есть очень малой части русского крестьянства, сохранившей допетровскую культуру и в то же время накопившей опыт угнетенного и преследуемого меньшинства. Столыпин не рассчитывал на эту уникальную группу и сделал ставку на отруб, то есть на переход от крестьянина к фермеру. Я верю на слово Ксении Григорьевне, что стоило попробовать программу Чайнова, поскольку она была лучше бухаринского ТОЗа (товарищество по совместной обработке земли). Но мне кажется, что это вряд ли сохранило бы традиционный крестьянский мир во всей России. Любая форма сельскохозяйственной кооперации, как показал опыт многих стран, не в меньшей степени, чем частное хозяйство, опирается на науку (а не на космическое чувство; крестьянская цивилизация ни в одной стране не устояла перед промышленным переворотом и НТР). Статья Мяло — конкретное исследование; оно доказывает, что староверческие общины могли бы уцелеть. Хочется в это поверить. Однако что у Мяло верно, то в системе доказательств Шафаревича становится неверным. Никакие частные парадоксы не способны упразднить логику исторического развития, которая все больше отдаляет человека от непосредственного и бессознательного (или мифологически осознанного) единства с природой и в то же время требует восстановления единства через культуру созерцания, искусство и культ. Выход из позднеантичного общества человечество обрело не в возвращении к племенному жизненному укладу, а в христианской церкви, создавшей внутреннее духовное пространство в огромном обезличенном мировом городе — Константинополе. И сегодня возвращение в деревню возможно только в случае гибели 99 процентов человечества в результате какой-нибудь катастрофы. Если не погибнут наши города, наши коммуникации, превратившие земной шар в единый общий дом, попытки перенести в этот мир деревенскую психологию заранее обречены. Наиболее плодотворный для нас путь — переключка с другими странами, ищущими выхода из «переразвитости». Там есть течения, создающие новые связи с целостным и вечным взамен связей разрушенных. Решающая проблема всей мировой цивилизации — как создать чувство полноты жизни и творческое состояние у горожанина, только изредка восстанавливающего прямой контакт с природой, а через нее с мирозданием. Впрочем, здесь нет возможности подробно разрабатывать эту важную тему.

Вернемся, однако, к истории России. В ней было не только патриархальное крестьянство со своим космическим чувством, но и опричнина, и реформы Петра, и военные поселения, и другие взрывы «административного восторга». Командно-административная система побеждала не во всех странах, а только в странах с традицией «административного восторга»; побеждала в России и Китае, но не в Англии и не в Индии. Заражение идеей подобно заражению туберкулезом. Кроме палочек Коха, нужно еще отсутствие иммунитета. У России не оказалось иммунитета к утопии. И это не следствие внешнего давления. Это коренное, медленно, веками складывавшееся свойство. Оно существовало уже в прошлом. Угрюм-Бурчеев и ретивый начальник — не инородцы.

Очень важно понять, к чему мы возвращаемся и от чего отталкиваемся. Не только от чужого отталкиваемся — но и от своего (глуповского). Не только к исконному, корневому возвращаемся, но и к всемирной отзывчивости, к ощущению связи со всем духовно ищущим миром. И. Шафаревич выступает против того, что он называет схемой, но преувеличение западной рассудочности и бездуховности — тоже схема. Чрезмерное копирование западных образцов нам пока мало грозит. Мы все еще недостаточно перенимаем чужой хороший опыт и по-прежнему настаиваем на своих доморощенных проектах (вроде процеживающих комиссий на выборах). И есть опасность,

что старые «прогрессивные» прожекты будут заменены прожектами консервативными, с ориентацией на идеал вечной Тимоники.

Человечество, «возможно, по крайней мере освободится от мертвых схем... Одной из таких схем и представляется мне противопоставление командной системы западному пути как двух диаметрально противоположных выходов, из которых только и возможен выбор».

Нет слов, все европейское (и американское) надо подгонять по своему росту (как это успешно сделала Япония). Только не дай нам бог опять попытаться выпрыгнуть из истории и заняться разработкой очередного «вечного двигателя», который и естественную среду не погубит, и нравственность укрепит, но останется лишь на бумаге, а работать не будет. И снова придется искать вредителей, подсышающих песок в буксы...

«Особый путь» — это претензия на роль самостоятельного «культурного круга» (Шпенглер), «цивилизации» (Тойнби), «субэкумены» (термин, принятый автором этих строк). В прошлом Россия этим никогда не была, так что возвращаться нам не к чему, память здесь не поможет. Но были великие ожидания, и для них даже сейчас есть какие-то возможности.

Всякая культура, развивающаяся на перекрестке субэкумен, может породить новый синтез и стать центром новой группировки культур. Такие процессы начинались в Тибете, еще раньше в Византии, но субэкуменальные узлы, образовавшиеся там, были смяты историческим процессом. Духовный взлет России в XIX веке вызвал у Шпенглера ожидания, что Россия станет новым культурным кругом. В этом свете (почти как Белый и Блок) Шпенглер воспринял и революцию. Такие надежды до известной степени разделял Тойнби. Но после неутешительных итогов XX века он отказал России в звании самостоятельной цивилизации. На сегодняшний день вопрос остается теоретически открытым, но практически на выжженной экспериментами земле нет ни материальных, ни духовных ресурсов для прокладывания новых путей. России предстоит еще освоить огромный опыт XX века, усвоить тысячи идей и множество форм жизни и только потом, возможно, их опровергать.

Хомяков и Достоевский знали Европу, с которой спорили, и нам прежде всего надо узнать и усвоить кое-что жизненно нужное, без чего в XX веке не проживешь.

Г. ПОМЕРАНЦ.